

Ирина ИВАСЬКОВА

г. Анапа,

Краснодарский край



рассказ

Задумано было так — комната огромная, белая. Окно в целую стену, штора полощется на сквозняке — не пошлая тюлька, а нежная, прозрачная ткань. Мебелей никаких — может, только кресло какое плетеное или полка-загогулина, чтобы навалить на нее морских ракушек и парочку ярких книг. И воздух, воздух гуляет, штору кольшет, а за ней что-то синее, сверкающее, не разобрать сразу — то ли море, то ли небо.

К такой комнате — платье белое, длинное, до самого пола, с кружевом по подолу и груди, а плечи открытые, смуглые, наполированные солнцем. Прическа там, губы, глаза — это все понятно. Кольца пусть с камнями, чтобы свет от них отскакивал и разноцветными зайчиками по стенам метался.

Белка продумала все до мелочей — глядела по сторонам: рекламы, журналы, крики телевизора, чужие разговоры — просеивала, выискивала нужное, прикладывала к своей картинке — хорошо ли, ладно сидит? И картинка получалась нарядная, почти объемная и живая — светлое и безопасное убежище, пусть недоступное пока, но где-то непременно существующее.

По утрам Белка просыпалась от стука — бабка долбила в стену кулаком, пора было вставать и завтракать. Вот тебе и мечты о белом платье — попробуй-ка сохрани, когда надо таскать на себе чужую немощь — сначала в ванную, потом на кухню. Кормить размоченным печеньем, смотреть, как капает на застиранный ситец молоко, как дрожат темные руки и слезятся отцветшие глаза.

После завтрака бабка беспокоилась и даже покрикивала — хотела обратно в свою комнату. Вцепившись в Белкину руку, она почти бежала и мелко тряслась, пока не усаживалась на свое сокровище — прошловековой сундук, обшарпанный временем в труху, но по-прежнему, как и сто лет назад, закрытый на крепкий замок. Дряхлое тело сундука сжимали полоски кованого железа, и даже узоры какие-то вились по его бокам, но Белка никогда их не рассматривала. На сундуке бабка сидела весь день — стерегла неизвестные сокровища, шепталась сама с собой и изредка стучала по стене, вызывая Белку по своим гигиеническим надобностям.

Чего греха таить, в белой комнате Белка была

не одна — ей требовался восторженный зритель, готовый любоваться морем, плечами и прической. И ведь комната только-только была придумана, а он уже нашелся — брюнет с глазами синими и теплыми, с чудесной и многообещающей фамилией Любимов — правда, не совсем восторженный, а скорее скучающий. Именно он превратил ее имя — единственную вещь, достойную белой комнаты — в собачьи позывные. Была Изабелла, а стала Белка, Белянка и даже иногда Белохвостикова — бог весть почему.

С задуманной ролью Любимов справлялся плохо, он вообще был малопонятный, щипал Белку за подбородок, спрашивал, где Стрелка, — это была его лучшая шутка. Но она не обижалась — там, в чистоте ее вымыслов, все будет правильно и понятно, а пока что — черновик, карандашные наброски. Ходила к нему два раза в неделю, олады тепленькие носила из дому — у себя на кухне он хозяйничать не разрешал — разведешь, говорил, шум и вонь, да еще и привыкнешь тут, прикормишься.

На самом деле Белка и правда смахивала на собачонку — блеклая, как разбавленное молоко, суетливая, круглоглазая. Когда в зеркало смотрела, сразу дворняжек вспоминала, пугливых и обиженных. В белые комнаты таких не пускают — «куд-да пр-решь?» — для них улица предназначена, с пыльными двориками, голубиным говором и помоечной радостью. А если не хочешь бегать по мусоркам, есть и другой вариант, но его не каждая собака выдержит — берут тебя, значит, запутывают ремнями и прямиком в космос, вращаться вокруг Земли, ничего не понимать, дрожать от ужаса — отчего это только что гладили и угощали и вдруг оставили одну и навсегда.

Получив от Любимова новое имя, Белка часто думала о космических собаках — толковые, видать, были животные, а одна даже тезка, дворняги, а гляди-ка, на весь мир прославились. И хоть собак давно уже не отправляли в безвоздушную пустоту и вокруг Земли теперь кружили суровые мужчины, Белке все представлялось, как летят в черноте две лохматые подруги и даже пожаловаться на страх не могут — только лаять в равнодушный радиоэфир. Всплакнув при мысли о бесконечном собачьем одиночестве и бесконечной же доверчивости, Белка снова возвращалась

мыслями в свою придуманную комнату — в ее белизне не было места слезам и тоске.

Когда Белкина покорность Любимову надоела, его шутки стали обидными — что-то про ободранный хвост, кривые лапки и мокрый нос. Это было неправильно — Белке было больно от несовпадения, а вымечтанная картинка дрожала и теряла блеск. Белка подумала-подумала и решила, что пора рассказать ему про комнату, теплый морской сквознячок, бриллиантовые зайчики и солнечную ласку. Только красиво говорить у нее не получалось, слова разбежались и прятались: но вот же, посмотри на меня, в глаза мне посмотри — вон оно там, белое, очищенное от повседневности счастье, видишь?

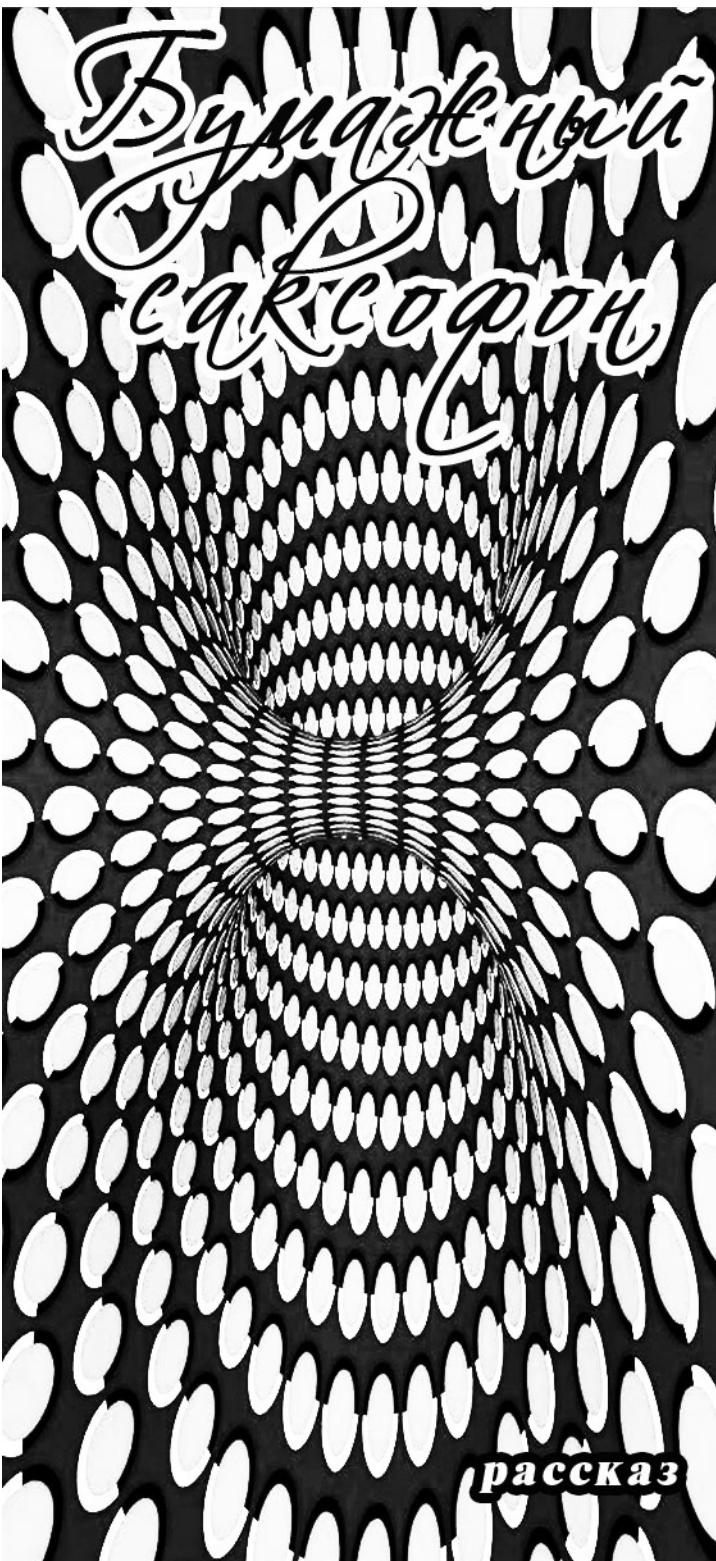
Любимов ничегошеньки не увидел, а из всего Белкиного бормотания понял только, что она хочет платье, кольцо и на море — очень рассердился, обозвал Белку полоумной, выгнал и так равнодушно закрыл за ней дверь, что ясно стало: ничего не жди больше, никогда.

Белка шла по улице и твердила себе без всякой злости — ну было, было. Достался мне маленький кусочек твоей жизни, а остальное съест кто-то другой, посильнее да поумнее. И картинки мои беспомощные — собирала, склеивала, додумывала — и без толку, от одного слова рассыпались в пыль, а я теперь, как собака в космосе, — кручусь и гавкаю бессмысленно, в пустоту.

Войдя в привычный домашний запах пыли, духоты и старости, Белка разулась, прижалась спиной к холодной стене и закрыла глаза. Долго страдать было некогда — пора готовить ужин, и стирки накопилось, и бабка уже колотит в стену — зовет к себе.

Белка прошла по узкому темному коридору, повернула в бабкину комнату и на мгновение ослепла от внезапной сияющей белизны, яркими пятнами разбросанной по стульям, ковру и кровати — кофточки, сорочки, панталонны, нижние юбки, что-то непонятное на бретельках и пуговицах, в сложном переплетении шнурков, рюшек и бисерной бахромы.

У распахнутого сундука стояла бабка, улыбалась и протягивала Белке платье — обшито кружевом по подолу и груди, белое и длинное — до самого пола.



Кто придумал такое название, хозяин кафе уже не помнил. Но соответствовать приходилось: в углу смастерили невысокую эстраду, и на неё каждый вечер выходил музыкант — молодой саксофонист по фамилии Бубенцов.

В кафе подавали только пиво и нехитрую закуску — кое-какие салаты, сэндвичи и, конечно, соломки, чипсы и сухари, солоно и звонко хрустевшие на зубах. Глуховатое, словно прикрытое бархатом пение саксофона никому не мешало — кружки мягко стучали о деревянные столы, наполняясь и опустошаясь, ровно гудели разговоры, вспыхивал смех.

Играл музыкант недолго — несколько всем знакомых мотивов, несмелая импровизация — кланялся публике и уходил почти незамеченным. Впрочем, хозяин, желающий владеть заведением оригинальным, с претензией, Бубенцова ценил — без ежевечерних концертов кафе превратилось бы в обычную забегаловку, а тут, с музыкой, вроде как благородно, интеллигентно, свежо.

Никто из посетителей и не подозревал, что шуплый, лысоватый Бубенцов, припыленный полутьмой и сигаретным дымом, был мечтатель и экспериментатор. Признания критиков он давно не искал, фамилия его мало подходила для ярких афиш, но он видел музыку — во всяком случае, ему так казалось — блеском, радужными искрами, россыпью огней. Красота звучания была для Бубенцова почти невыносима — припадая к мундштуку, он закрывал глаза, волновался телом и рвался душой. К несчастью, играл он неважно — чудесное дрожание чувств терялось где-то между ним и саксофоном, оставляя слушателям лишь пустые, высохшие ребра мелодий.

Отсутствие в себе исполнительского таланта Бубенцов осознал рано и исправить ничего не пытался, внутренний огонь грел его тихо и ровно — достаточно для спокойной уверенности и довольства собой. Но вот публику саксофонист жалел: непонимающие волшебства звука, равнодушно жующие люди вызывали в нем брезгливость, возникающую у абсолютно здорового, счастливого человека при виде увечности, злобы и грязи.

Для излечения звуковой слепоты слушателей Бубенцов мечтал создать достоверные музыкальные иллюстрации — живые, объемные,

сверкающие — не просто пошлые прожекторы, фейерверки или лазеры, а полностью вплетенные в полотно мелодии объемные движения цвета, сияния или — чем черт не шутит! — аромата, холода и тепла.

Как подойти к реализации замысла с технической стороны, Бубенцов даже не представлял. В его мыслях царили чистота и элегантность давно исполненной мечты, но в реальности бубенцовский саксофон звучал в полном одиночестве, без феерических сопровождений. Измучившись болезненным несовпадением, Бубенцов решил действовать.

Первая конструкция музыкального иллюстратора оказалась простой — ножной насос-лягушка, скрепленный с длинной прозрачной трубкой. Используя в качестве подручного средства пшеничную муку, экспериментируя с активностью нажатий и диаметром трубки, Бубенцов добился своего — иллюстратор заработал так, как надо. Первая опытная модель прибора предполагала создание скромного, но изящного музыкального рисунка: что-то вроде легких серебряных облаков или звездной пыли. Бубенцов посетил лавочку для юных фокусников, купил внушительный пакет мелкой сверкающей пудры и назначил время музыкального триумфа на ближайшую пятницу.

Публика в тот вечер подобралась приятная — ни слишком шумных молодых компаний, ни одиноких подозрительного вида мужчин. Совсем близко к эстраде расположилась на удивление приличная пара: блондинка с уставшим лицом и мужчина в темно-синем костюме.

На появившегося в полутьме подмостков музыканта никто не смотрел — Бубенцов аккуратно прикрепил конец трубочки к наполненному блестками насосу и выпрямился, чувствуя, как вьется под его одеждой прозрачный проводник между музыкой и чудом. Убедившись, что другой конец трубки свободно выходит из рукава пиджака, он вздохнул и прижал к губам мундштук.

На первых нотах саксофонист задрожал, но затем овладел собой и, как обычно, закрыл глаза. Он играл, помогая себе всем телом, думал о райских облаках и солнечных искрах, сожалел о грубости и пошлом сверкании купленных блесток, но ровно на второй минуте

мелодии, как было и задумано, наступил на упругое резиновое тельце насоса.

Серебряная пудра, посверкивая в слабом свете, вылетела из рукава Бубенцова, легко устремилась к столикам и посыпалась вниз, прямоком в пивные кружки, под возмущенные окрики и смех. Мгновенно осознавшему главную ошибку эксперимента Бубенцову это легкое падение показалось бесконечным и безнадежным, как

тон Шепарда.

— Кать, слышала про такую штуку? — серебряная пудра крепко прилипла к коже, и темно-синий костюм, совсем новый, явно нуждался в химической чистке, но мужчина все равно улыбался.

— Не слышала и слышать не хочу, — ответила женщина, расстегивая испачканные серебром замшевые сапоги, — я одного понять не могу, как нас угораздило в эту дыру забрести!

— А мне название понравилось, и подвал — я, в институте когда учился, в таком часто бывал. А тон Шепарда, Катюш, это такая чудесная иллюзия, бесконечная игрушка для мозга. Сейчас планшет включу, покажу тебе.

— Да ты умойся сначала, — она посмотрела на его лицо и засмеялась, — слушай, Вить, у тебя даже нос в блестках!

— А что это такое — тон Шепарда? — ломающийся мальчишечий голос, внезапно раздавшийся из гостиной, заставил их вздрогнуть. Прервав растерянное молчание, женщина легонько подтолкнула мужчину к двери.

— Иди, иди, — зашептала она, — сам с тобой заговорил, иди!

— Я знал, что сегодня будет хороший день, — также шепотом ответил он и вошел в гостиную, стараясь сохранить вид будничной и простой — ну что такого, в самом деле, обычная семья, один спрашивает — другой отвечает.

— Тон Шепарда, как я уже сказал, удивительная иллюзия, — мужчина и мальчик склонились над экраном планшета, рассматривая изогнутые линии звукового ряда.

— Ты же знаешь, что такое — иллюзия? — спросил мужчина.

— Знаю, — сказал мальчик, — иллюзия это когда кажется.

— Правильно. Так вот, когда слушаешь ряд Шепарда, кажется, что звук может понижаться бесконечно. Вот, я включаю.

Комнату наполнило странное, неприятное гудение, похожее на постепенно увеличивающуюся боль. Звук растягивался, становился все ниже, и слух погружался во что-то вязкое, полугнилое.

Мальчик внимательно смотрел на экран, а потом скривился:

— Выключите, пожалуйста. Зачем оно такое нужно, а?

Мужчина пожал плечами:

— Психолог придумал. Экспериментатор какой-то над человеческим восприятием. Даже не знаю, чего он хотел добиться. Мне тоже не нравится, честно говоря.

В комнате стало тихо.

Оба они почувствовали в тишине, как уходит, растворяется напряжение, до краев наполнявшее квартиру последние три месяца — с того самого дня, когда мужчина пришел сюда с чемоданом, а мальчик отказался разговаривать.

Тикали часы. Внизу глухо хлопнула подъездная дверь.

— Мне знаете что больше всего не нравится? — неожиданно сказал мальчик. — Что эта штука бесконечно вниз падает. Пусть это только кажется. Можно вот так сидеть и слушать, и даже не знать, когда это все закончится и когда ты наконец-то упадешь.

— Думаешь, так и в жизни бывает, да? — спросил мужчина.

Мальчик кивнул.

— Ну, тут я тебя утешу, — мужчина снова улыбался, — тон Шепарда может не только опускаться, но и подниматься, — звук, конечно, тоже не из приятных, но лучше ведь вверх лететь, а не падать черт знает куда, правда?

— Правда. Дядь Вить, у вас краска на носу, — сказал мальчик.

В коридоре беззвучно заплакала женщина, прижав ладони к лицу, мешая слезы с косметикой и прилипчивым серебром. Эти дурацкие блестяшки, так нелепо вылетевшие из рук невзрачного саксофониста, оказались волшебным средством, магической пылью, подарком доброй феи своей бедной, заблудшей, погрязшей в тоске крестнице.

И пусть девочке уже почти тридцать девять, и

плещется за спиной горькое море неудачного брака, но она сумела, все выдержала и выбралась на сухой, безопасный берег с новым спутником — немного странным, но совершенно необходимым. И все оказалось так просто — не нужен им был никакой психолог («Покажите сыну, как вы его любите...»), никакие советы опытных, по три раза разведенных подруг («Да всыпь ему хорошенько и компьютер отбери...»), никакие мамини утешения («Живи для сына, какая любовь в твоём возрасте...»). Ничего этого не нужно было, а пригодился только зимний вечер, подвальное кафе и неожиданный саксофон в серебряных блестяшках. Мудреная алхимия времени спасает каждого — и для всех нас в итоге прозвучит

одна и та же песня

в моей голове — одна и та же — злость на других, жалость к себе. Всё было так хорошо, всё было так ровно, всё шло, как было задумано. Вся жизнь была предрешена и заполнена. Я составил правила, определил границы, заранее придумал схемы разговоров и поступков. Мне было легко оттого, что ничего непредвиденного со мной случиться не могло. Ведь, если подумать, всё можно сделать формулой, достаточно лишь продумать ее составляющие, расположить их в нужном порядке и со спокойной уверенностью ждать результатов.

Жаль только, что некоторые элементы моей формулы — безличные Икс и Игрек — вдруг оказались не я. А ведь в самых моих сокровенных мечтах я не раз представлял, как было бы хорошо, если бы все люди в мире стали мной. Никакой непредсказуемости, никаких сюрпризов, никаких проблем. Чистота, порядок, покой. Думаете, странные мечты? Ну, нет, не стоит лукавить — я уверен, что каждый из вас хотя бы раз в жизни мечтал о мировом господстве. Скажете, нет? А я не поверю.

Одна из самых любимых моих, многократными повторами проверенных схем — дорога от работы до дома — свежестроенной многоэтажки в лучшем месте города. Я получал искреннее удовольствие от того, что путь мой представлял собой правильный прямой угол: выходя из офиса, я шел прямо, потом сворачивал направо, снова шел прямо и заходил в собственный подъезд.

После изгнания из упорядоченного, своими руками выстроенного идеального мира я, вероятно, немного повредился рассудком — и вот уже второй раз, не задумываясь, выходил с работы и шел знакомым до трещинки асфальтовым полотном до подъездной двери — двери своего бывшего дома.

Первый раз я очнулся от холода домофонных кнопок, — мною придуманная комбинация отчего-то не сработала, пальцы замерзли, и я пришел в себя, вспомнив, что здесь уже не живу.

И вот сегодня — дорога без мыслей, открытый настезь подъезд, мимолетное возмущение — опять старуха с пятого этажа не захлопнула дверь, и внезапное возвращение сознания и чувства себя.

Проверим, где я. Так, знакомый коврик, резиновый легко моющийся материал, цена — сто пятьдесят три рубля. Телескопический глазок — надежная вещь, куплен с хорошей скидкой. Аккуратная кнопка звонка, самостоятельно мною установленного. Один лишь вопрос: я позвонил или нет?

Отчего-то я не мог сдвинуться с места. А внутри меня что-то, наоборот, двигалось и поднималось — неужели я собираюсь позорно плакать под дверью? Пустите, пустите меня обратно, там все сделано под меня и для меня, даже стены обрели форму моего тела, мягкая мебель ждет только моей тяжести, посуда притихла в кухонном шкафу и хочет только моих прикосновений! Это неправильно, несправедливо! Почему я не могу быть там, а стою здесь, и купленный мной коврик выпачкан какой-то серебристой дрянью?

С отвращением я отступаю назад и осматриваю выпачканные блестками подошвы. За дверью слышны голоса, в ванной льется вода, играет музыка. Видимо, я все-таки не успел нажать на кнопку. Или, может быть, они затаились и не хотят открывать, чужие теперь Икс и Игрек — я думал, что они это я, а они, оказывается, мной не стали. Стоп. Внутри моего бывшего мира должны быть только два голоса: голос Икс и голос Игрек, — моя вселенная должна ждать своего хозяина, не меняя ничего — ни капли, ни нитки, ни звука. Но я слышу мужской голос! Незнакомый мужской голос!

В голове моей звенит и рушится, я разворачиваюсь и бегу прочь, испуганный как никогда.

Я возвращаюсь туда, где ночью теперь, — моя старая однокомнатная квартира без мебели и занавесок. В прошлой жизни я предполагал, что выгодно продам ее и куплю автомобиль. А теперь я лежу на полу и слушаю эхо собственного сердца, отражающееся от голых стен. Единственное, что проникает в мою пустоту — тихая и фальшивая колыбельная за стеной. Там, в соседней квартире, живет толстая молодая женщина с неприятным лицом и тусклым ребенком. Они возьмется и издадут звуки — в своей темной, до омерзения незнакомой жизни, где-то

под ракиновым кустом

живет волк. Капает дождь, волк мокрый, но все равно сидит, не уходит. Волк ждет вечера, когда Ксюша пойдет спать, повернется неловко во сне, скомкает одеяло и откроет под волчьей зубья беззащитный бок.

Ксюша знает точно, что волк кусается не до крови, а так, осторожно, но крепко, не вырвешься. Схватит и потащит в лес, под ракиновый куст с мягкими голыми прутиками — в волчьем лесу не бывает весны, только поздняя осень, серенькая, как звериная шкура.

Зачем волку нужен пятилетний ребенок, непонятно. Может быть, ему холодно, может быть, хочется поговорить. О том, что волки иногда едят детей, Ксюша старается не думать — это уже не колыбельная получится, а очень страшная сказка.

Песенку про волка и ракиновый куст Ксюша не любит, но отчего-то не может сказать об этом маме. Возможно, потому, что мама знает только одну колыбельную — вот эту, осеннюю, мокрую, волчью. А если Ксюша откажется ее слушать, и мама совсем перестанет петь на ночь? Об этом тоже думать совсем не хочется. Хочется спать и не бояться, укутаться хорошенько — особенно по бокам — и спать, спать.

Мама замолкает, целует Ксюшу в нос, уходит на кухню и заводит там специальную вечернюю музыку — стук-постук кастрюльками, ложками и чашками, журчание воды в раковине, скрип деревянных шкафчиков, а потом тишина и вздох. Мама думает, что Ксюша уже спит, и вздыхает почти в голос:

— Охо-хо-о!..

Это значит, что посуда вымыта, день закончен и Ксюше уже можно закрыть глаза.

Волк, должно быть, лежит сейчас под мокрой ракитой, и лапы у него подрагивают. Он устал, ведь звери в лесу должны много бегать и скакать. А вот люди бегают редко, особенно взрослые. И Ксюша вспоминает странного дядьку, недавно поселившегося в соседней квартире, — он всегда ходил медленно и ровно, как положено взрослым, а сегодня вдруг промчался мимо по лестнице, прыгая через три ступеньки и чуть не сбив Ксюшу с ног. Может, этот дядька на самом деле волк? Ксюша ежится под одеялом, со страхом глядит в темноту и даже подумывает — не позвать ли маму.

Но потом решает, что не нужно, и закрывает глаза.

В крохотном промежутке между сном и явью, полусонном пространстве, открывающемся лишь на мгновение — для осознания и забытия, Ксюша плывет и движется, а потом становится огромной, размером с комнату, улицу, город. Целую секунду девочка глядится в свой собственный мир — сахарные булочки, рыжий котенок, стопка ярких книжек, зеленый кафель в ванной, толстые голуби на утопанном снегу, мокрые варежки, чужие лица, бесконечно высокое небо и желтая лампочка у подъезда.

Секунда завершается, и Ксюша спит. Она видит во сне бегущего по лестнице соседа — как там говорится в сказках — зайчик побежал, только пятки засверкали. Но дядька совсем не зайчик — из-под его короткого пальто торчит ободранный волчий хвост, а вместо начищенных ботинок по ступенькам топочут серые волчьи лапы. Они и вправду сверкают на бегу — левая лапа волка почему-то выпачкана мелкими серебряными блестками. Лестница вдруг вытягивается, выпрямляется, уходит вверх, трясет перила и качается из стороны в сторону, но волк не падает, а все бежит и бежит, и самый ужас в том, что он остается на месте.

Ксюша всхлипывает во сне, машет руками, переворачивается и сбрасывает спасительную одеяльную защиту. Ее бок в желтой пижаме — законная звериная добыча — открыт. За окном темно, улицы пусты, все колыбельные спеты, а утро еще так далеко — наступает время волчьего бега — у самой кровати, кругами, бесшумно.

Но девочка уходит из страшного сна, прячется в другую сказку, где нет волков, а есть веселая красная машина и толстенькие щенки.

Мама тихонько укрывает Ксюшу, и теперь спящая в полной безопасности, далеко-далеко от волка с серебряным следом и мокрого ракитового куста — пристанища сумерек и осенней печали.

Жаль, что мама не видит ее снов и не знает ее страхов — огромная вселенная детства дышит рядом, вращаясь и расцветая, безо всякого ведома взрослых. Мамины заботы просты: чистые уши и сытость, — и летит мимо обычный вечер обычного дня, который не вспомнят ни завтра, ни через год. А потом, как и тысячи лет до этого, приходит

ночь

не лучшее время для собачьих прогулок. Этот подъезд пёс облюбовал давно — здесь тепло, темно и двери не закрыты даже в холода. Устроившись у ребристого бока батареи, пёс сворачивается клубком, но вдруг поднимает острый нос и нюхает пыльный воздух.

Кроме привычного горелого масла, влажности ванн комнат, кошачьей наглости, пёс чувствует что-то тревожное, манящее. Осмелев от удивления, он выходит из-под лестницы и осторожно поднимается за новым запахом на второй этаж.

Три квартиры. От одной пахнет ребенком — маленькой девочкой, а еще сладким хлебом, тишиной и сном. Вторая квартира пуста уже давно, а вот из третьей льется человеческая злость и тоска — такой аромат псу знаком не понаслышке. У двери пёс видит странные блестящие отметины, словно бы кто-то выпачкал ботинки чем-то непонятным и вытер их потом о крашеный пол.

Пёс аккуратно обнюхивает находку, потом спускается вниз, медлит мгновение, оглядываясь на теплую темноту своего убежища, и выходит на улицу.

Невидимые человеческому взгляду истории, путаницы решений, дорог, потерь и обретений расстилаются перед собачьим обонянием яркими цветными узорами. Но пса интересует лишь одна нитка этого полотна, и он бежит, не теряя пути, мимо мусорных баков, гаражей, вдоль освещенной зябнувшими фонарями улицы.

Серебряные следы ведут к новому, недавно

выстроенному дому: от таких пёс держится подальше — слишком просторно и светло. Здесь не найдешь мисок с кашей и супом, а вот схлопотать по тощему боку можно легко. Пёс давно уже понял, что красиво одетые, вычищенные до волоска люди защищают свои границы куда активнее тех, кто ходит в старых ботинках и ужинает минтаем.

Подъезд опасного дома плотно закрыт, а нужная нить запаха четко входит внутрь. Но одновременно и выходит из него, становясь все яснее, и ведет направо, в лабиринты дворов.

Пёс бежит дальше, и след уже так ярок, что нет никаких сомнений в верности дороги. Между двумя жилыми домами, сквозь разинутую пасть подворотни, мимо спящей детской площадки, сквера и закрытого на ночь магазина.

Рядом с высоким, вычищенным от снега магазинным крыльцом прячется лестница, ведущая в подвал. Серебро тянется именно туда, но пёс не торопится — кроме серебряного запаха, здесь слишком много разных, неизвестных следов. Из подвала тянет пивом, перчеными сухарями и кислым соусом.

Пёс устал и замерз, но любопытство заставляет его сделать еще несколько шагов. Крутые ступени ведут вниз, к обитой деревом двери, а рядом с ней стоит человек, перепачканный серебряной пылью с ног до головы. Псу страшно

и трепетно — он запрокидывает морду и коротко воеет на равнодушную пустую улицу.

— Ну что, что, — отзывается человек и тоже поднимает голову, — ты откуда такой? Чего кричишь? Иди-ка сюда, у меня тут есть койчего, — и шелестит пакетом.

Забыв обычное недоверие, пёс спускается по ступенькам и охотно принимает из незнакомых рук скользкие куски колбасы.

— Вот и хорошо, — человек смотрит на пса и улыбается, — ты бродяга, да? Со мной пойдешь? У меня тепло. У меня музыка. Ты саксофон любишь? Как я сегодня сыграл, а! Блестяще!

Он смеется, встает, пошатываясь, вешает на плечо большой футляр, собирает остатки распотрошенных бутербродов в пакет и поднимается по лестнице вверх. Пёс идет рядом, наблюдая, как сверкают серебряные человеческие следы в синем свете вывески, бросающей на снег расплывающиеся проекции двух слов:

БУМАЖНЫЙ САКСОФОН

□

Ирина Викторовна ИВАСЬКОВА

родилась в Красноярске.

Окончила Красноярский государственный университет,

факультет юриспруденции.

Пишет прозу, стихи.

Публиковалась в периодических изданиях.

В 2014 году вошла в лонг-лист независимой премии

«Дебют» в номинации «Малая проза» с подборкой рассказов.

В 2015 году получила гран-при I Всероссийского литературного

фестиваля-конкурса «Поэзии прекрасный свет».

Живет в Анапе.

В журнале «Север» публикуется впервые.

